

Вадим Вацуро
о Лермонтове





Annotation

Первое, что ставит «Лермонтовские Тарханы» П. А. Фролова на особое место в краеведческой — да и научной — литературе, — совершенно неожиданный поворот темы. Это книга не о «Лермонтове в Тарханах» и даже почти что не о Лермонтове. Это книга о культурном мире тарханского крестьянина.

- «Лермонтовские Тарханы»



«Лермонтовские Тарханы»

< Отзыв на книгу П. А. Фролова >

Эта небольшая, скромно изданная книжка, выпущенная в 1987 г. в Саратове Пензенским отделением Приволжского книжного издательства, принадлежит перу тарханского исследователя-краеведа П. А. Фролова, несколько лет назад выпустившего вместе с А. Семченко и другую книгу о тарханском периоде жизни Лермонтова («Мгновения и вечность», 1981).

Профессиональная критика нередко упрекает краеведческую литературу за крайне невысокий научный уровень. Нужно признать, что упреки эти не лишены оснований. За немногими счастливыми исключениями, автор краеведческой книги изучает только внешнюю историю и историческую топографию своего края и притом в связи с именами наиболее выдающихся лиц. Читатель такой работы в лучшем случае получает полезный путеводитель по памятным местам, от которого не требует ни целостного представления о развитии культуры в том или ином регионе русской провинции, ни тем более оригинальной биографической концепции, если книга посвящена одному «герою». Более того, органическим недостатком книг последнего типа является, помимо их компилятивности, упорное и чаще всего бесполезное стремление найти «местные источники» литературных шедевров и триумфально опровергнуть укоренившиеся «ложные представления», проистекающие из недооценки местной традиции. Скажем сразу же, что от этого всеобщего соблазна не сумел полностью освободиться и П. А. Фролов, — но отзыв на его книжку нужно начинать не с этого упрека. Мы скажем далее, в чем мы видим слабость его работы, — сейчас же попытаемся сформировать общее от нее впечатление. Оно таково: книга эта — явление очень отрадное, заслуживающее по весьма многим причинам высокой оценки и искренней благодарности.

Первое, что ставит «Лермонтовские Тарханы» на особое место в нашей краеведческой — да и научной — литературе, — совершенно неожиданный поворот темы. Это книга не о «Лермонтове в Тарханах» и даже почти что не о Лермонтове. Это книга о культурном мире тарханского крестьянина. «От всего, что составляло духовную жизнь народа прошлых веков, остались в буквальном смысле крохи, — пишет автор на с. 195 своего труда. — <...> Элементы старой культуры остались как пережитки, и, может быть, не сегодня-завтра от них не останется

и следа».

Пафос собирания и описания этой полуисчезнувшей крестьянской культуры — вот что одушевляет книгу, которая читается с захватывающим интересом. Автор книги — тарханский старожил, вышедший из потомственной крестьянской семьи; образованный и литературно одаренный историк местного крестьянского быта, знающий его не извне, а изнутри. Его материал — не только устное предание — семейное или соседское, — но и собственный опыт, осмысленный как некий исторический факт. Его описание тарханской избы, русской печи — начиная от техники ее сооружения и вплоть до рекомендаций, как в ней нужно париться, рассказ о том, как сеют и убирают коноплю, готовят и прядут волокно и ткут холстину, что такое искусство стогования, его замечания о традиционной крестьянской агротехнике и исчезнувших орудиях земледельческого труда, — все это уникально в нашей краеведческой — да и не только краеведческой — литературе. Пересказывать эти главы — лучшую часть книги — невозможно; их нужно читать, и притом внимательно, чтобы погрузиться в атмосферу, с детства знакомую сельскому жителю, — как и крестьянину, так и барину, выраставшему в усадьбе, подобно С. Т. Аксакову или Лермонтову. Важно заметить, что этот этнографический пласт повествования органически включался в духовную культуру русского крестьянина и тарханского — в частности; с ним неразрывно связаны были былички и мемораты, собранные П. А. Фроловым в главке «Наследство далеких предков», так же как обрядовые и свадебные песни, записанные им в Тарханах. Очевидец и прямой участник земледельческого труда в его традиционных формах, какие сохранялись еще в 1930–1940-е гг., преобразуется здесь в исследователя-фольклориста, записывающего уходящий на его глазах фольклор и документирующий свои записи. Лишь иногда автору изменяет исследовательское чутье: так, песня «Я вечер в лужках гуляла», записанная им от М. З. Кузнецовой, никак не является ни семицкой, ни троицкой; это фольклоризированный романс, контаминировавший строфы литературных романсов Г. А. Хованского и Н. П. Николева (см. их в кн.: Песни и романсы русских поэтов / Под ред. В. Е. Гусева. М.; Л., 1963. № 57 и 88); некоторые неточности есть и в рассказе о генезисе аграрных праздников. Но повторим — не они определяют общую тональность превосходных глав: их ценность в том, что их автор сам видел, слышал и испытал на собственном опыте и сумел сохранить и донести и до науки, и до широкого читателя.

Несколько сложнее дело обстоит там, где П. А. Фролов

пытается непосредственно связать крестьянскую культуру Тархан с творчеством Лермонтова. То, что она отразилась в нем, — несомненно; но поиски ее следов требуют чрезвычайного такта и осторожности. Очень соблазнительно, например, уловить элементы тарханского пейзажа в «Черкесах» (1828), созданных Лермонтовым «на родной пензенской земле» (с. 30):

Свод неба синий тих и чист;
Прохлада с речки повеваает,
Прелестный запах юный лист
С весенней свежестью сливает.

и т. д.

Между тем весь этот отрывок (мы цитируем лишь его начало) — парафраза из «Славянки» Жуковского:

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повеваает;
Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.

Если даже рассматривать этот поэтический пейзаж как словесный эквивалент реальной картине, то он — не пензенский, а павловский.

Эта неточность показательна. Она — прямое следствие прочно укоренившихся в популярной литературе инвектив-заклинаний, «разоблачающих» тех, кто якобы отказывал Лермонтову в самостоятельности, выискивая у него отзвуки чужих произведений. Между тем эти отзвуки — твердо установленный факт. Они показывают, что встречающееся до сих пор механическое противопоставление двух сфер художественных ассоциаций — эмпирического наблюдения и литературных впечатлений («поэт шел от жизни, а не от литературы») — альтернатива совершенно ложная, принадлежащая примитивным уровням научного сознания. Соотношение источников в художественном мире поэта гораздо сложнее. Странно было бы предполагать, что Лермонтову нужен был Жуковский, чтобы ощутить вечернюю лесную прохладу и почувствовать запах молодой листвы. Но когда юный поэт начинает все это описывать, он попадает в русло литературной традиции, в которой — в особенности на первых порах — самоопределиться ему затруднительно. Она предопределяет и отбор деталей, и доминанты пейзажного описания. В меньшей степени она

тяготеет над пейзажами в большом прозаическом повествовании, — и потому пензенские и тарханские пейзажные реалии с гораздо большей убедительностью обнаруживаются в «Вадиме». Это показали и П. А. Фролов, и предшественник его С. А. Андреев-Кривич в своей книге «Тарханская пора» (Саратов, 1976). При этом нет вовсе никаких оснований бить тревогу, если окажется, что те или иные элементы пейзажных описаний «Вадима» подсказаны и литературными источниками. Это норма. В классическом пушкинском изображении бурана в «Капитанской дочке» есть детали, восходящие к С. Т. Аксакову и даже А. П. Крюкову, что ничуть не лишает его самостоятельности.

В «Родине» «пляска с топаньем и свистом» — конечно, след реальных впечатлений, и вместе с тем она — отсылка к Пушкину:

Теперь мила мне балалайка,
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака...

(«Евгений Онегин»)

Быть может, единственным сознательным, даже демонстративным описанием реальной тарханской усадьбы являются строки стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...»:

И вижу я себя ребенком, и кругом
Родные все места — старинный барский дом,
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд...

Здесь — подчеркнутая «внелитературность», зрительная конкретность пейзажа; она несет особые функции в общем литературном замысле.

Это не значит, что в других стихах, в прозе и драматургии Лермонтова тарханских реалий нет, — они есть, но они зачастую преобразены, скрыты или объединены с иными разнородными впечатлениями; часто они не устанавливаются путем прямой идентификации и обнаруживаются по косвенным признакам в неожиданных местах. Так, очень остроумно тонкое наблюдение П. А. Фролова, что в «Пире Асмодея» ощущается некое авторское недоверие к «немецкому» блюду — картофелю; в Тарханах его до 1828 г. не было.

Мы остановились так подробно на частности, на попутном

упоминании, потому что за ним раскрывается некая общая проблема, выходящая за рамки книги П. А. Фролова и, как нам представляется, важная для методики краеведческих изысканий в целом. С ней соприкасаются и другие проблемы, может быть, более существенные для изучения «тарханской поры» Лермонтова и не имеющие однозначного решения. Одна из них впервые поставлена в рецензируемой книге. На с. 226–231 автор рассказывает народную легенду о змее, прилетавшем к молодой вдове. Легенда была известна в Тарханах; П. А. Фролов услышал ее от О. М. Шубениной, свидетельствовавшей, что она бытует «с самых незапамятных времен». «Баюют, что сам Михайло Юрьевич ее записывал» (с. 226). Так возникает гипотеза об одном из возможных фольклорных источников «Демона».

Сама по себе она не представляет чего-либо невероятного. Но это не местный сюжет. Это распространенная волшебная сказка о змее-любовнике, вошедшая, между прочим, в «Повесть о Петре и Февронии». Согласимся, что она имеет некоторые точки соприкосновения с «Демоном», — но лишь в самых общих чертах. Если же мы обратимся к самым ранним редакциям «Демона» — ближайшим по времени к «тарханской поре», то увидим, что как раз они удалены от своего предполагаемого аналога в наибольшей степени. В первоначальных набросках поэмы основа сюжета — любовь монахини не к демону, а к ангелу; демон обольщает монахиню из соперничества и делает ее духом ада. Тарханский вариант сказки о змее поэтому не мог быть источником «Демона»; он составляет дальнюю периферию литературных и фольклорных аналогов поэмы. Что же касается предания, что Лермонтов «записывал» сказку, — то не дошли ли до тарханских старожилов известия о лермонтовском «Демоне»? Не стала ли литературная и личная биография Лермонтова, в свою очередь, материалом легенды?

Это, как нам кажется, один из важных вопросов, где сходятся в одной точке факты исторической действительности и фольклорного сознания, — и его исследование могло бы лечь в основу специальной работы. Между тем самая проблема практически еще не поставлена. Рассказы тарханских старожилов о Лермонтове принимаются нередко вне всякой источниковедческой критики, в лучшем случае как мемуарные свидетельства, которые могут быть верными или неверными — и только. Но эти рассказы — менее всего свидетельство и более всего — факт народного творчества. Наивно думать, что до тарханских крестьян не доходили многочисленные печатные известия об их великом земляке. П. А. Фролов приводит выразительные сведения о тарханских книгочеях, собирателях и

летописцах, хранивших сочинения Пушкина и Лермонтова. Василий Иванович Кормилицын, молочный брат Лермонтова, глубоким стариком хранил «толстую книгу со стихами Лермонтова». Он рассказывал деду автора «Лермонтовских Тархан»: «Афонька, Лермонтова власть убила, потому что он не любил царя» (запись П. А. Вырыпаева, 1948; с. 98). Нет никаких сомнений, что это суждение не принадлежало Кормилицыну; оно было прочитано, и притом сравнительно поздно. Но столь очевидные факты воздействия книжной культуры на устное предание единичны; сколько-нибудь полной картины нет и, может быть, уже не появится. Мы можем пока что лишь строить предположения и ставить вопросы, на которые нет ответов. Так, не зависела ли посмертная репутация Дарьи Куртиной от художественного образа ключницы в «Menschen und Leidenschaften»? Вспомним, насколько обычна идентификация персонажей с реальными лицами, — в особенности в замкнутой среде, где живо устное предание. К имени Дарьи-ключницы прикрепился рассказ, что она с барыней «волю утаила, что Михаил Юрьевич мужикам подарил» (с. 10) — драматическая легенда, которую даже ее потомки принимали как историческую истину. Но совершенно такую же легенду мы читаем у Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо» — легенду о «мужицком грехе», «иудином грехе» старосты Глеба, из корыстолюбия «утаившего волю» сорока тысяч крепостных. Случайно ли это сходство? или и в этом случае мы имеем дело с народным историческим мифотворчеством?

Было бы странно ожидать, что одна или даже несколько работ о лермонтовских Тарханах могут ответить на все вопросы подобного рода. Заслуга П. А. Фролова уже в том, что его книга вызывает их. Но он сделал и бесконечно большее. Он во многом воскресил и закрепил в сознании современного читателя целый пласт уходящего исторического и культурного быта; он восстановил по крохам, с любовью и не жалея времени и сил, часть национального исторического достояния, которое без него пропало бы безвозвратно. Потомок тарханских крестьян по старинной привычке своих прадедов взялся за тяжелый труд; он делал патриотическое дело, не рекламируя своего патриотизма и не обличая мнимых супостатов. У него не было времени на публичные декларации. Он работал. Он может быть доволен результатом своего труда.

В этом, помимо культурной ценности, заключается и глубокая актуальность книги «Лермонтовские Тарханы».

Речь идет о кн.: *Фролов П. А. Лермонтовские Тарханы*. Саратов, 1987 (в библиотеке В. Э. Вацура экземпляр с дарственной надписью: «Вадиму Эразмовичу Вацуру в память о Тарханах — от автора. 3.07.88»).

Рецензия сохранилась в виде рукописного черновика; кем была она заказана и кому отослана (и была ли вообще кому-нибудь отправлена?), неизвестно.